

хеттской глиптики отражает их генеалогическое родство, уходящее корнями вглубь тысячелетий. Именно отсюда, из сиро-анатолийского центра, арийские племена (родственные ахейским), в силу еще не совсем ясных причин двинулись на поиски новой родины в направлении Внешнего Ирана. Промежуточные пункты их продвижения фиксируются в Эламе, Гиляне (Марлик) и в Хорасане (Гиссар – Тюренгтепе), Восточном Иране (Шахдад, Тепе-Яхья, Сохри-Сохте). Конечный пункт маркируют многочисленные памятники БМАК, а также Белуджистана и предположительно долины Инда постхаррапского времени, когда здесь появляются ведические арии.

В.И. Сарияниди

SYRO-HITTITE ORIGIN
OF THE BACTRIAN-MARGIANA GLYPTICS

V.I. Sarianidi

The article gives a brief review of glyptics of the so-called Bactrian-Margiana Archaeological Complex (BMAC). The author dates the complex within the limits of the second millennium BC, analyses the iconography of its glyptics and registers numerous parallels between the images and motifs of the BMAC seals and those of the Syro-Hittite (and even Aegean) glyptics.

According to the author, these parallels demonstrate close ethnic and cultural ties between these two regions, Margiana and Bactria in the East and Southern Anatolia in the West. The author assumes that penetration of the «Syro-Hittite» imagery in the BMAC glyptic reflects in a way a real spread and settlement of some Indo-European groups in Central Asia at the end of the Bronze Age.

*Древние империи (Новые подходы к изучению древних империй
Запада и Востока)*

© 1999 г.

СВИТА (CONORS) НАМЕСТНИКА
И ИДЕОЛОГИЯ РИМСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА

I

В общем и в целом римляне предпочитали представлять свой империализм мягким и благодетельным для тех, кто оказался в пределах их империи. Считалось, что исключения лишь подтверждают правило. В частности, развитие законодательства, сдерживавшего должностные злоупотребления в провинциях, всегда выдвигалось как доказательство приверженности римлян к справедливому правлению, каковы бы ни были конкретные обстоятельства и цели соответствующих законов¹. На фоне этого законодательства частные случаи злоупотребления властью могли уместиться в рамках «идеологии благодетельности», поскольку они рассматривались как единичные отклонения от верного принципа. В этом отношении судебное преследование коррумпированных наместников могло иметь и полезную идеологическую функцию. Если мы учтем тот факт, что в римской литературе нередко высказываются опасения по поводу благотворности римского империализма, а сами писатели без труда высказывают и публикуют критические замечания (как абсолютно, так и не вполне спра-

¹ Lintott A. Imperium romanum. Politics and Administration. L. – N.Y., 1993. P. 97–110.

ведливые) в его адрес², то из этого автоматически вытекает, что осуждение злоупотребляющих властью наместников, как реальных, так и потенциальных, должно было рассеивать или, по меньшей мере, смягчать подобные связанные с империей опасения, которые, по-видимому, распространялись по Риму. Наказание несправедливых утверждало статус империи как государства справедливого и в теории, и на практике, в границах доступного (ср. Cic. Rep. 3. 35–38). В целом судебное преследование и осуждение злоупотребляющих властью наместников можно считать одним из видов оправдания римского империализма и имперской администрации: они как бы наглядно демонстрировали, что плохому управлению есть предел, и многое из того, что казалось недостатками империализма, связывали со злоупотреблениями отдельных наместников, а не с идеологией империализма, служившей основой их деятельности, и не с самой системой управления через наместников.

Для представителей римской элиты управление провинциями уже при Цицероне (а, может быть, и всегда) было как бы важнейшим «испытанием на прочность», за результатами которого внимательно следили как их коллеги, так и противники³. И конечно же, обвинения того или иного наместника в злоупотреблении властью также стали неотъемлемой частью римских политических игр: так, многие из речей Цицерона непосредственно связаны с предъявлением или опровержением таких обвинений. В то время как индивид старался продемонстрировать в ходе испытания наместничеством добрые качества своей натуры, его враги были заинтересованы в том, чтобы представить его наместничество как провал и тем самым доказать его порочность. Соответственно при обмене аргументами между представителями обвинения и защиты вполне возможно было заявить, что обвинения были (или не были) выдвинуты вследствие личной вражды, а не законного преследования злоупотребляющих властью наместников (e.g. Cic. Font. 38; Balb. 11).

Существовало также и взаимодействие между настоящим и прошлым (или, скорее, воображаемым прошлым). Поскольку римская идеология преклонялась перед прошлым, авторы периода Поздней республики обычно рассматривали римский империализм предшествующей эпохи как более справедливый, чем современный. Цицерон придерживался мнения, изложенного им в «De Officiis», что римский империализм некогда являлся скорее *patrocinium* – «патронатом»: он считал, что злоупотребления начались тогда, когда тирания утвердилась также и в Риме – в самой сердцевине власти, особенно в результате победы Суллы⁴. Согласно Цицерону, существовала тесная связь между характером римского империализма и римской политической жизни в целом – еще одно указание на особое значение осуществлявшейся в провинциях деятельности для общественно-политической мысли древнего Рима: коль скоро тирания подавляет справедливость в Риме, она становится нормой и для провинций (ср. Juv. 2 и 8, где подобная ситуация рассматривается в условиях принципата). Таким образом, Цицерон мог включать рассуждения о злоупотребляющих властью наместниках в рамки гораздо более общего анализа римского государства в целом, анализа, который был пронизан беспокойством относительно последствий убийства Цезаря и главной темой которого был вопрос о монархии.

Для Саллюстия тесная связь между усилением тирании в самом Риме и тираническим злоупотреблением властью в провинциях также являлась очевидной. Однако если Цицерон начало упадка относит ко времени Суллы, то Саллюстия уже Югуртинская война представляется свидетельством существования олигархической тирании в Риме. Это представление нашло наиболее яркое воплощение в речи, приписываемой им оратору Меммию: «Дело не просто в расхищении государственной казны и вымогательстве денег у наших союзников, – преступлениях, хотя и тяжких, но ныне привычных и никем не принимающихся в расчет. Свирипейшему из врагов предан авторитет

² Brunt P.A. *Laus Imperii* // Ed. P.D.A. Garnsey, C.R. Whitaker. *Imperialism in the Ancient World*. Cambr., 1978.

³ Braund D.C. *Ruling Roman Britain: Kings, Queens, Governors and Emperors*. L., 1996.

⁴ De Off. 2. 26–7; ср. Rich J.W. *Patronage and International Relations in the Roman Republic* / Ed. A. Wallace-Hadrill. *Patronage in Ancient Society*. L., 1989. P. 117–136.

сената, предана вся наша держава: и в самом Риме, и вовне государство выставлено на продажу» (Bell. Jug. 31.25).

В этом взгляде нет и намека на «патронатный империализм», наличие которого в досулланский период предполагал Цицерон (кстати, крайне редко упоминавший Меммия: *Virtus* 136; *De Orat.* 2.240, 267): коррупция, как доказывает саллюстиев Меммий, к концу II в. прочно утвердилась в государстве. Кроме того, подобные рассуждения можно найти и в более ранних текстах II в. до н.э., например, в известных фрагментах Катона Старшего, и даже в дошедших до нас скудных отрывках из дебатов по поводу внешней политики, относящихся к III в. до н.э. (см. ниже об Аппии Клавдии Цеке). Преклонение перед «добрым старым временем» (добрым во всех отношениях, в том числе и в управлении провинциями), видимо, стало всеобщим увлечением не позднее чем с III в. до н.э.

Следует отметить, что на протяжении всей римской истории отношения с внешним миром и связанные с ним свершения занимали центральное место в представлении римлян о самих себе. Действительно, уже давно признано, что «я» обычно воспринимается при сопоставлении с «другим я» и по контрасту с ним; при этом подобное восприятие свойственно не только для древнего Рима, но и для многих других наций⁵. Конечно же, образ Рима в представлении самих римлян ассоциировался не столько с простым подчинением других, сколько с управлением другими ради их блага и даже с их включением в римское «я» (например, путем предоставления римского гражданства и даже впоследствии допуска в сенат). В то же самое время считалось (точно так же, как и в Спарте), что пребывание римлянина за границей ставит под угрозу не только его жизнь, но и моральные качества: даже увлечения старшего Сципиона Африканского могли восприниматься как опасные для его морального облика⁶. При этом вне Рима римлянин подвергался опасности не только со стороны местных жителей, но и со стороны других римлян (поведение которых уже не могло сдерживаться нормами, господствовавшими в Риме), особенно там, где эти римляне обладали властью. По-видимому, Ричардсон был прав, когда утверждал, что не только провинциалы, но и римляне, жившие в провинциях, нуждались в защите со стороны римского права от злоупотреблений римских наместников⁷.

II

Окружение наместника (*cohors*) вызывало особенно много подобных опасений. Наместник не только лично назначал большую часть своей свиты, но и жил среди нее и использовал ее в государственной деятельности, особенно в качестве суда, на котором председательствовал он сам⁸. Именно в окружении наместника решалась судьба жителей провинции. Любое из лиц, состоявших в его свите, было для них всецельной фигурой. В то же самое время в первую очередь именно благодаря своему окружению наместник был на виду у представителей римской элиты: его репутация в Риме сильнейшим образом зависела от сообщений его приближенных. Отсюда несомненно и попытка Цезаря дискредитировать тех, кто покинул его окружение и вернулся в Рим в самом начале противоречивой галльской войны⁹. Возможно, ему припомнилось начало карьеры Мариа, который сперва блистал в свите одного из наместников, а затем, порвав с ним, вернулся в Рим уже в качестве его противника с жесточайшей критикой (ср., например, *Plut. Mar.* 7).

Однако привилегия быть включенным в окружение наместника, помимо всего прочего, означала для его приближенных подчинение его власти. И особые опасения

⁵ См., например: *Smith A.D. National Identity. L., 1991.*

⁶ *Astin A.E. Cato the Censor. Oxf., 1978. P. 13 f.*

⁷ *Richardson J.S. Hispaniae. Cambr., 1986. P. 140; idem. The Purpose of the Lex Calpurnia de Repetundis // JRS. 1987. 77. P. 1–12.*

⁸ *Lintott. Op. cit. P. 50 ff.*

⁹ *De bello Gallico. 1. 39, см. также Braund. Op. cit.*

вызывала коррупция из-за юности многих из тех, кто входил в окружение наместника: видимо, их причастность к свите могла угрожать их нравственности не только из-за злоупотребления властью в сексуальных целях, особенно со стороны наместника (о чем будет идти речь ниже), но также из-за слишком раннего приобщения этих юношей к неримским обычаям и их преждевременной власти над провинциалами. В ниже приводимом отрывке из речи Гая Гракха содержится пример того, как развращается молодежь через приобщение к неримской культуре, и, по-видимому, к преждевременной власти (к сожалению, мы не располагаем более подробным контекстом): «Покажу вам на одном примере, насколько велики своеволие и несдержанность молодых людей. Несколько лет тому назад из Азии был послан молодой человек, который не занимал никаких магистратур, а служил простым легатом. Его несли на носилках. Навстречу ему шел пастух, плебей из Венузии, который, не разглядев, кто находится в носилках, в шутку спросил, уж не труп ли в них. Услышав это, молодой человек приказал поставить носилки на землю, снять с них ремни и бить ими пастуха до тех пор, пока тот не испустит дух» (Gellius. NA. 10. 3. 5):

Предмет этого анекдота – обыденная встреча простолюдина с представителем элиты, по сути своей не заключавшая в себе никакой обиды для последнего (ср. хорошо известный случай с Писистратом: Ath. Pol. 16. 6). Упомянутые в рассказе иностранные (точнее – вифинские, ср. Catul. 10) носилки не только являются его центральным пунктом, но и олицетворяют испорченность юноши, вина которого состоит как в том, что он ими пользовался, так и в том, что он неадекватно отреагировал на шутку пастуха, которая всего-навсего отражала традиционно присущее италийцам поведение и чувство юмора. Остается лишь догадываться, в каком окружении вращался этот юноша в Азии (если не на самом деле, то, по крайней мере, в предполагаемом контексте данного рассказа).

Можно также выдвинуть кое-какие предположения относительно его характера до службы в Азии. Весьма вероятно, что он не входил в число тех молодых людей, которых в первую очередь следовало бы брать в Азию. Цицерон с одобрением отзывался о сухом отказе Сцеволы от услуг алчного Септимулея из Анагнии, о непопорочности и жадности которого свидетельствует тот факт, что за голову Гая Гракха ему заплатили золотом ровно столько, сколько она весила: «Когда он (Септимулей. – Д.Б.) попросил Сцеволу взять его с собой в Азию префектом, тот ответил: «Чего ты хочешь, безумец? Я уверяю тебя: столь велико число дурных граждан, что, если ты останешься в Риме, то за несколько лет скопишь огромное богатство» (Cic. De oratore. 2. 269).

Проблема правильного отбора свиты играет важную роль в одном знаменитом случае, который скорее всего был известен как Гракху, так и Сцеволе. Я имею в виду случай со свитой Луция Квинкция Фламинина, старшего брата «освободителя» Греции – Тита. Наиболее полный вариант этой истории мы находим у Ливия, который посвящает ей большую часть рассказа о цензorstве Марка Порция Катона в 184 г. до н.э.¹⁰ Там рассказывается, что Луций был одним из семи сенаторов, изгнанных из Сената Катонем и его коллегой, Луцием Валерием Флакком. По мнению Ливия, речь Катона против Луция была столь убийственна, что сам Тит, будь он даже цензором, не сумел бы его спасти. Возможно, Ливий читал эту речь; по крайней мере, он явно много о ней знал, так как пишет, что такого рода жесткие речи Катона (и других) против предполагаемых жертв его цензorstва в его (Ливия) время все еще были известны, включая и речь против Луция, по-видимому, самую суровую из всех (Catonis et aliae quidem acerbae orationes exstant in eos... longe gravissima in L. Quinctium oratio: Liv. 39. 42. 6–7). Цитаты из речей, относящихся ко II и даже к III в. до н.э., и ссылки на них достаточно многочисленны, особенно у Цицерона и Авла Геллия. Это подтверждает тот факт, что речи эти имели публичное хождение как в период Поздней республики,

¹⁰ Liv. 39, 42. 5–44. 9; см. также Astin. Op. cit. P. 79 f.

так и вплоть до II в. н.э. и, возможно, даже позже: их воздействие на риторику Поздней республики нельзя недооценивать.

Через Ливия до нас дошел ключевой фрагмент обвинительной речи Катона в адрес Луция Квинктия Фламиния: история карфагенянина Филиппа и убийства галльского дезертира. «Помимо прочего, Катон обвинял его в том, что он увел с собой из Рима в Галлию карфагенянина Филиппа, известного торговца своим телом, пообещав ему большое вознаграждение. Как утверждал Катон, мальчишка, чтобы побудить любownika к щедрости, часто укорял консула в том, что тот насильно утащил его из Рима во время гладиаторских игр ради лишь своего удовольствия, и грубовато поддразнивал его по этому поводу. Однажды на пиру им, уже разгоряченным вином, доложили, что прибыл с семьей знатный перебежчик из галльского племени бойев и чтобы заручиться покровительством консула, желает лично увидеться с ним. Когда его привели в палатку и он начал общаться с консулом через переводчика, Квинктий, пока тот говорил, обернулся к юноше и спросил: "Раз уж ты покинул гладиаторский бой, не хочешь ли посмотреть, как умрет этот галл?" Филипп кивнул в знак согласия (скорее всего в шутку), но по кивку развратника консул тотчас же, схватив обнаженный меч, висевший в изголовье, сперва ударил им галла по голове, а затем, когда тот, отпрянув, начал взывать к милости римского народа и всех присутствовавших, вонзил его ему в бок» (Liv. 39, 42. 8–12).

В этом заявлении, переданном Ливием, критика ведется по нескольким направлениям. Первое и главное – это то, что Луций поставил под сомнение возможность доверия (*fides*) не только лично ему, но и своему окружению, и, что самое важное, всему римскому народу¹¹. В конечном счете это произошло потому, что он убил галла, пришедшего к нему в качестве просителя, при этом убил его не просто по собственной прихоти, без всякой причины, но и вопреки разумным интересам (и моральному кодексу) римского государства, согласно которым любое доверие должно было быть оправдано и дезертиров следовало оставлять у себя (в частности, для того, чтобы привлечь других). Безрассудство Луция проявилось в его злоупотреблении властью, а это злоупотребление произошло на пиру, на котором Луций был пьян и не способен заниматься государственными делами. Его безрассудство объясняется его пьянством (по крайней мере, частично). В то же время оно прослеживается в том, что он, поступив самым неподходящим образом, ввел в свое окружение продавца развратника Филиппа (не говоря уже о половой невоздержанности, о которой свидетельствует подобный выбор). Далее, как, видимо, подчеркивал Катон, туда, где шли бои, Филиппа увлекли посулы, которые и сами по себе были непристойны: совершенно ясно, что обещанные подарки он, Луций, намеревался добывать за счет сомнительных доходов своего правления в провинции. По-видимому (если в этом тексте все передано точно), именно на таких условиях Филипп продался своему любовнику Луцию. Более того, Луций утащил Филиппа в поход с представления, где демонстрировались бои гладиаторов: сообщение об интересе, который вызывали у развратника эти бои, помогает не только подтвердить его порочность, но и объяснить историю с убийством галла. Совершив убийство, Луций стремился превратить свой военный поход в гладиаторские игры и тем самым обесценивал саму войну, т.е. еще одну область, где находила себе традиционное выражение римская доблесть. На протяжении всей этой истории поведение Луция, согласно Катону, не соответствовало ни достоинству его консульского поста, ни связанной с ним ответственности. Вместо этого он шел на поводу у развратника. Даже порядок слов у Ливия (и, возможно, у Катона) подчеркивает эту смену ролей, поскольку здесь сопоставляются два статуса (Луция и Филиппа), расположенные на разных концах римской социальной шкалы, так далеко друг от друга, как никакие другие: «...по кивку развратника консул...» (*ad nutum scorti consulum...: Liv. 39. 42. 12*). Конечно же, кивать в знак приказа должен был бы сам консул. Тем не менее, ответственность за преступление ложилась все

¹¹ Ср. Rich. Op. cit.

равно на него, поскольку развратник лишь пошутил (*cum is vixdum serio adnuisset...*: Liv. 39. 42. 12); по-видимому, даже ему не могло прийти в голову, что консул мог злоупотреблять своей властью так нагло и безрассудно. Даже галл и тот, хотя и был дезертиром, вел себя в полном соответствии с римскими представлениями о приличиях, так что его убийство консулом выглядит еще отвратительнее. Катон обвиняет Луция в том, что несмотря на свой пост консула римского народа он вел себя во всех отношениях так же безнравственно, как, очевидно, он ведет себя в частной жизни.

Несколько элементов этого рассказа известны и из более ранних источников, прежде всего греческих рассуждений на тему монархии и тирании (ср. Herod. 3. 80–2; Xen. «Hiero», «Agesilaus», «Cyropaedia»; Plato. «Rep.», «Gorgias»; Isocr. «Euagoras», etc.). Тема злоупотребления властью со стороны правителя-тирана уже давно была избитой, в теоретическом изложении абстрактной, но в отдельных случаях иллюстрируемой конкретными примерами. Причем при любом объяснении причин этого злоупотребления основополагающим фактором признавалась его иррациональность. В эти рассуждения, как правило, включалась история об убийстве, обычно абсолютно бесполезном и совершаемом по какой-нибудь прихоти. Пиршество служило подходящей обстановкой для примеров злоупотребления властью, особенно со стороны пьяных правителей. Более того, тираны часто изображались окружающими себя худшими членами общества вместо лучших, которых они, наоборот, предпочитали преследовать. Эти «дружки» нередко считались ответственными даже за те или иные злодеяния своих господ-тиранов, поскольку, как предполагалось, они на самом деле не служили им, а лишь манипулировали ими в своих интересах. Наконец, в тиране видели «потребителя», отнимавшего достояние своих подданных ради собственной выгоды и тем самым резко отличавшегося от доброго царя-благодетеля. Тиран должен был вести аморальную жизнь: он утопал в роскоши, заключавшей в себе все мыслимые излишества. А, как мы знаем, осуждение роскоши занимало ключевое положение в социально-политических взглядах Катона (ср., например, его *bon mot* о том, что трудно уберечься от гибели городу, в котором за рыбу платят дороже, чем за быка – Plut. Sato Maior. 8. 2). С точки зрения Катона роскошь была вредна для общества, несомненно, потому, что она одновременно раскалывала его и являлась предпосылкой для тирании, как внутри государства, так и в его отношениях с другими народами¹².

В осуждении Катонем Луция Квинтия Фламинина, очевидно, имелось немало формулировок, заимствованных из греческих рассуждений о монархическом правлении. Как было недавно показано Груеном¹³, нам следует отказаться от распространенного представления, согласно которому Катон грубо отвергал всю эллинскую культуру на корню. Про него скорее можно сказать, что он усваивал греческие темы и адаптировал их для использования в устной речи в римском контексте. Соответственно речь против Луция – это один из примеров того, как греческая концепция монархии трансформировалась в римские представления и рассуждения об управлении провинциями. Пример этот, правда, весьма ранний, если учитывать, что, с одной стороны, Катон стоит у истоков римской латинской прозы, а с другой, что к 184 г. до н.э. не прошло еще и века с той поры, как у Рима появились первые заморские провинции. Тем не менее, есть причины думать, что во времена Катона эти представления могли быть куда более развиты, чем считается обычно.

В последнее время исследователи стали относиться к Гераклиду Понтийскому, описавшему Рим как «греческий город» еще в конце IV в. до н.э., с гораздо большим доверием, чем допускалось раньше¹⁴. Сейчас уже не вызывает сомнений, что архаический Рим был пропитан тем, что мы считаем эллинской культурой, не только поверхностно, но и в самих основах: в институтах, религиозных представлениях,

¹² О том, что роскошь ассоциировалась с тиранией в греческом мире см. Davidson J. Fish, *Sex and Revolution in Athens* // CQ. 1993. 43. P. 53–66.

¹³ Gruen E.S. *Culture and National Identity in Republican Rome*. L., 1992. P. 52–83.

¹⁴ Wiseman T.P. *Remus, a Roman Myth*. Cambr., 1995, см. особенно P. 58.

общественном строительстве. Даже собственно римская историография появилась на свет в виде повествовательной прозы, которая и по языку и по жанру была греческой¹⁵. Соответственно, поскольку вопрос монархии еще со времен Гомера играл столь важную роль в греческой жизни и греческом мышлении, можно аргументированно утверждать, что Рим еще за несколько столетий до Катона был хорошо знаком с греческими концепциями монархии и подвергался их воздействию. Действительно, монархия была, возможно, господствующим политическим режимом в раннем Риме, поскольку именно в соответствии с монархией и в конечном счете в противовес ей формировала свою историю и идентичность Римская республика. В то же время есть убедительные свидетельства взаимодействия между Римом, царями (например, ранними Птолемеями)¹⁶, а также философами, интересовавшимися проблемой монархии (такими, как пифагорейцы)¹⁷. Возможно, самым знаменитым примером подобного взаимодействия для тех, кто жил в эпоху Поздней республики и после нее, было враждебное выступление Аппия Клавдия Цека против переговоров римлян о соглашении с Пирром Эпирским около 280 г. до н.э.¹⁸. К этому следует добавить, что, хотя первое заморское владение Рима (западная Сицилия) было приобретено лишь в 241 г. до н.э., армии под предводительством консулов выступали за пределы страны намного раньше. Вне всякого сомнения, Катон внес значительный вклад в адаптацию греческих концепций монархии и их использование в отношении римского наместника, а, кроме того, сформулировал их и представил в виде латинской прозы. Однако происходило это в ту эпоху, когда римская элита, возможно, была уже хорошо знакома с этими идеями и, по всей вероятности, отчетливо осознавала их значение для форм монархического (в том числе и консульского) правления как в Риме, так и в провинциях.

И все же даже через сто лет после Катона требовалось, видимо, оправдание и объяснение использования греческих концепций монархии в отношении римского наместника. Так, еще в 60 г. до н.э. Цицерон, по всей видимости, чувствовал необходимость доказательства того, что греческие представления о монархии действительно чрезвычайно важны для римского опыта; об этом он пишет в трактате, посвященном проблеме управления провинциями, и адресованном его брату Квинту, наместнику Азии преторского ранга. Особое внимание он уделяет Ксенофону: «Сколь же приятной может быть мягкость претора в Азии, где так много граждан, так много союзников, столько городов, столько общин ждуть кивка одного человека, где нет никаких возможностей защиты, никакого обжалования, никакого сената, никаких народных сходок! Поэтому, уже дело великого человека, умеренного по своей природе и образованного благодаря воспитанию и изучению высоких искусств, обладая столь большой властью, вести себя так, чтобы те, над которыми он поставлен, не желали никакой другой власти.

Ксенофонт написал своего знаменитого "Кира" не исторически верно, а с целью дать картину справедливой власти, чрезвычайная строгость которой у философа сочетается с редкостной добротой. Ведь не без причины наш славный [Сципион] Африканский не выпускал из рук этих книг, ибо в них не пропущено ни одной обязанности заботливой и умеренной власти. И если их так соблюдал тот, кому никогда не предстояло быть частным человеком, то как же нужно соблюдать их лицам, которым власть дана с тем, чтобы они ее сложили, и дана на основании законов, которым им предстоит снова подчиниться?

По моему мнению, тем, кто стоит во главе других, следует направлять все к тому, чтобы те, кто будет в их власти, были возможно более счастливы» (Cic. Q. fr. 1. 1. 22–24. Пер. В. О. Горенштейна).

Цицерон подчеркивает явно монархический характер власти наместника провинции, несмотря на то что власть эта временна, а сам наместник не застрахован от

¹⁵ Wiseman T.P. *Historiography and Imagination: Eight Essays on Roman Culture*. Exeter, 1994. P. 1–22.

¹⁶ См., например: Braund D.C. *Rome and the Friendly King: the Character of Client Kingship*. L., 1984. P. 34.

¹⁷ См. Wiseman T.P. *Remus...* P. 58 f.; относительно этой традиции см. также Cic. *De Sen.* 41.

¹⁸ ORF² 1, см. Powell J.G.F. *Cicero: Cato Maior. De Senectute*. Cambr., 1988. P. 136–139.

критики и последующего судебного преследования. Он придерживается хорошо известного из греческой мысли взгляда, согласно которому хороший правитель (будь то царь или наместник) должен подвергать себя инстинктивному самоконтролю, воспитанному с помощью соответствующего образования: основной критерий пригодности правителя – благо его подданных. В одном месте этого письма-трактата Цицерон упоминает о Платоне, чей идеал царей-философов хорошо согласуется с подобной позицией. В данном случае, однако, внимание привлекается к «Киропедии» Ксенофонта – описанию воспитания идеального правителя на примере Кира Великого. Учитывая возможную враждебность римской аудитории к греческой философии, Цицерон как бы невзначай упоминает о том, что «Киропедия» нравилась Сципиону Африканскому Младшему, покорителю Карфагена и другу философов, но при этом стопроцентному римлянину. Он утверждает, что для Сципиона «Киропедия» имела практическую ценность как пособие по осуществлению функций высшего магистрата: ее текст и идеи, изложенные в нем, благодаря использованию лучших примеров, стали неотъемлемой частью римской административной деятельности. В то же время Цицерон отмечает и само собой напрашивающееся возражение по поводу того, что римские правители не являются царями в строгом смысле слова, замечая, что, если даже царь, будучи абсолютным монархом, должен стремиться к добродетельному правлению, то тем более необходимо это стремление римскому наместнику, который через некоторое время вынужден будет «отречься» от своего временного единовластия и подчиниться всей строгости закона.

Хотя заслуга первопроходца в приспособлении греческих идей к оценке поведения римского магистрата принадлежит Катону, Цицерон, очевидно, считал, что он должен разбить лед во второй раз. Не подлежит сомнению, что он был хорошо знаком с римской историей в целом и, не в последнюю очередь, с историей возвышения Катона, чьи работы он знал прекрасно: в одном месте он даже упоминает об обвинительной речи Катона против Луция (*De Senectute* (alias *Cato Major*), 42). В трактате Цицерона важность представлений о монархии для управления римскими провинциями показана с гораздо большей степенью теоретической разработанности и сформулирована намного отчетливее, нежели в известных фрагментах из Катона; тем не менее, при всем при этом в его отношении к теме сквозит некоторый элемент лицемерия. Ведь, помимо Катона, многие другие также писали на эту тему еще до рождения Цицерона, как видно из различных текстов, цитируемых и упоминаемых в данной работе. Возможно, Цицерон именно это и стремился подтвердить, заметив, что Сципион внимательно читал «Киропедию». Вряд ли, однако, его трактат нес в себе что-либо кардинально новое для римской элиты, тем более что всего через несколько лет намного детальнее разработанный с философской стороны трактат на ту же тему написал для своего римского патрона Пизона Филодем Гадарский¹⁹. По всей вероятности, применение греческой мысли к римской практической деятельности должно было «оправдываться» периодически, на протяжении столетий, по мере того, как римляне пытались решить (в немалой мере с оглядкой на собственную идентичность) знакомую головоломку, связанную с несоответствием между их реальным могуществом, с одной стороны, и греческой традицией мощи (особенно интеллектуальной) – с другой.

III

Приблизительно в том же духе, в котором Катон критикует Луция за то, что тот принял в свое окружение Филиппа, выдержана и его речь против Марка Фульвия Нобилиора; его вина заключалась в том, что он брал с собой в провинцию поэтов. Цицерон говорит об этом следующее: «Вот как поздно у нас и узнали и признали поэтов. Правда, в «Началах» сказано, что еще на пирах был у застольников обычай петь под флейту о доблестях славных предков; но что такого рода искусство было не

¹⁹ *Dorandi T. Filodemo: Il buon re secondo Omero. Naples, 1982.*

в почете, свидетельствует тот же Катон в своей речи, где корит Марка Нобилиора за то, что он брал с собою в провинцию поэтов: как известно, этого консула сопровождал в Этолию Энний» (Cic. Tusc. 1. 3 (пер. М. Гаспарова); ср. Brutus. 75).

Этот отрывок заслуживает пристального внимания. Цицерон подчеркивает, что обычной петь во время пира хвалебные песни был весьма распространен, но считался недостойным. В качестве авторитета по этому вопросу выбран Катон, в частности потому, что в «Origines» он одновременно подтверждает существование этого обычая и осуждает его в своей речи против Нобилиора (хотя суть обвинения заключается не столько в непристойности хвалебных песен и не столько конкретно в Эннии, сколько в самом факте приглашения поэтов в провинцию наместником). Нельзя не согласиться с Груеном в том, что позиция Катона никоим образом не может быть названа антиэллинской. Но равным образом нельзя утверждать, что вина Нобилиора заключалась в том, что тот пытался возродить устаревшую практику хвалебной песни, подвергнутую всеобщему осуждению в старое доброе время²⁰. Более того, как кажется, Катон на самом деле даже одобрял этот обычай²¹. Полагаю, что проблема заключалась в подборе наместником своего окружения: то, что Нобилиор выбрал именно Энния и, возможно, других поэтов, и дало Катону повод для нападения – повод, который должен был вскоре стать банальным (или уже был банальным в то время).

В этом случае обвинения Катона в адрес Нобилиора основаны на том же, что и обвинения в адрес Фламинина, т.е. на том, что оба наместника выбрали себе недостойное окружение и за это заслуживают порицания. В подобном контексте вполне оправдано то, что Катон упоминает о поэтах в целом, поскольку считалось, что поэтов, точно так же, как и мальчиков для удовольствия, не следует брать с собой в поход, вне зависимости от их достоинств. Не исключено, что именно вследствие этих обвинений Энний включил в свои «Анналы» (книга 7; см. Gellius. NA. 12. 4) рассказ о дружбе между двумя неравными по положению людьми – консулом, выступающим в поход, и одним из тех, кто был в его свите²². Геллий, разумеется, сообщает нам, что, согласно Луцию Элию Стилону (ок. 150–90 гг. до н.э.), Энний изобразил в этих стихах самого себя (Gellius. NA. 12. 4. 4). Как бы то ни было, несомненным остается одно: во времена Катона Старшего подбор окружения для должностного лица считался чрезвычайно важным делом. Кстати, уместно будет предположить, что Катон мог осуждать Нобилиора и за его поведение на пирах (куда он приводил поэтов: Энний, предположительно, обедал вместе с ним), так же, как и Луция Фламинина: любопытен тот факт, что Цицерон упоминает об обвинениях в адрес Нобилиора по поводу Энния в том же отрывке, где он говорит о том, что Катон подтверждал в своих «Origines» существование обычая распевать песни во время пиршеств.

IV

По всей вероятности, к тому времени, когда Гай Гракх, сложив с себя обязанности квестора, вернулся из Сардинии и выступил с речью перед народом, в Риме уже прочно закрепилась практика рассуждений об управлении провинциями. Речь Гракха базировалась на том же, что и речь Катона против Луция Фламинина: пристойном поведении во время пира, половой сдержанности и неподкупности (по крайней мере, об этом можно судить на основании имеющихся отрывков). Разумеется, Гракх утверждает, что сам он, занимая должность, следовал именно этим принципам: «В провинции я поступал согласно вашим интересам, а не ради личной выгоды. При мне не было кабаков, мне не прислуживали красивые мальчики, а на моих пирах честь ваших сыновей была в большей безопасности, чем в резиденции наместника... В

²⁰ Pace Gruen. Op. cit. P. 71 f.

²¹ Это признается у Gruen. Op. cit. P. 71; см. также Wiseman. Historiography... P. 31 f.

²² Ср. Habinek T.N. Towards a History of Friendly Advice: the Politics of Candor in Cicero's De Amicitia / Ed. M.C. Nussbaum. The Poetics of Therapy. Edmonton. 1990. P. 173 f., где сделано много осторожных выводов.

провинции я поступал так, что никто не мог с достаточным основанием заявить о том, что я принял хотя бы самый незначительный подарок, или о том, что кому-либо мои действия принесли денежный ущерб. Два года я служил в провинции: и если какая-нибудь блудница вошла в мой дом, или если чей-нибудь молодой раб был мною совращен, тогда можете считать меня самым низким и развратным человеком на свете. Подумайте сами, как должен был я себя вести в отношении ваших сыновей, если я вел себя столь пристойно в отношении их рабов... Итак, квириды, когда я вернулся в Рим, мои сумы, полные серебра при вступлении в должность, были пусты. Напротив, другие, берущие с собой амфоры с вином, привозят их обратно, набив серебром по самые края» (Gellius. NA. 15. 12).

Очень жаль, что от подобного рода заявлений Катона, где он отстаивал свое достоинство в бытность его консулом в Испании и легатом в Этолии, остались только крошечные фрагменты, которые лишь позволяют нам предположить, что Гракх в описании своего достойного поведения в Сардинии мог многое заимствовать у Катона²³.

Опять же, говоря о своем достойном поведении в Испании, Катон прежде всего подчеркивал взаимоотношения со своим окружением. Согласно Плутарху, когда Катон делил между солдатами военную добычу, он заявил, что лучше многим римлянам вернуться домой с серебром, чем немногим с золотом (Ср. Sall. Bell. Jug. 8.2 и 30–31 на тему противопоставления «немногих» – «многим»). Плутарх добавляет, что, как говорил Катон, сам он не брал себе ничего сверх того, что съедал и выпивал (Саю Maior. 10. 4). Очевидно, вышеупомянутые «немногие» – это и есть ближайшее окружение консула²⁴.

Уже после Катона и, по-видимому, после Гракха, но все еще во II в. до н.э., тема окружения претора была вновь затронута Луцилием, очевидно, в сатирическом плане (*ut praetoris cohors et Nostius dixit aguspex*). Речь идет о фрагменте, который обычно относят ко второй книге Луцилия: предметом этой грубоватой сатиры служит обвинение в вымогательстве, предъявленное Титом Альбуцием претору Азии Квинту Муцию Сцеволе около 119 г. до н.э. Более того, сатира эта приобрела всеобщую известность: ее знали как Цицерон, так и Катулл, и оба упоминали ее в своих рассуждениях об окружении правителя, о чем я писал ранее²⁵. Несомненно, ей воспользовался Гораций²⁶, и даже спустя немало лет после установления принципата Персий и Ювенал могли рассчитывать на то, что их аудитория поймет аллюзию на эту сатиру (Pers. 1. 115; Juv. 1. 154).

Таким образом, когда в своем трактате, адресованном Квинту, Цицерон подчеркивает огромную роль, которую играет окружение в создании облика и репутации наместника (в данном случае наместника Азии, так же, как и в сатире Луцилия), он не изобретает ничего нового: «Что же касается тех, кого ты пожелал держать при себе... кого обычно называют как бы когортой претора (*qui quasi ex cohorte praetoris appellari solent*), то мы должны отвечать не только за их действия, но и за все их слова. Впрочем, при тебе находятся люди, которых тебе будет легко любить, если они будут поступать правильно, и будет весьма легко привести в повиновение, если они станут заботиться об уважении к тебе в меньшей степени, чем следует. Пока ты был неопытен, они, по-видимому, могли обманывать тебя при такой снисходительности, ибо чем лучше человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестности; теперь, на третьем году, ты так же честен, как и в предыдущие, но более осторожен и бдителен.

Пусть считают, что твои уши слышат то, что они слышат, и что они не из тех, в

²³ ORF² 8. 21–55 (Испания), 132–3 (Этолия).

²⁴ Astin. Op. cit. P. 53.

²⁵ Braund D.C. The Politics of Catullus 10: Memmius, Caesar and the Bithynians // *Hermathena* (forthcoming) (on Catullus 10 and Cic. Verr. 2. 3. 28).

²⁶ Serm. 1. 7; см. DuQuesnay I.M. *Le M. Horace and Maecenas: the Propaganda Value of Sermones 1* / Ed. T. Woodman, D. West. Poetry and Politics in the Age of Augustus. Cambr., 1984. P. 19–58.

которые можно с целью корысти нашептывать вымышленное и притворное. Пусть твой перстень будет не орудием, но как бы самим тобой – не слугой чужой воли, а свидетелем твоей. Пусть твой посыльный занимает такое положение, какое ему назначили наши предки, поручавшие это не в знак благоволения, а как должность, требующую труда и исполнительности, не иначе как своим вольноотпущенникам, которыми они повелевали почти так же, как рабами. Пусть ликтор являет не свою, а твою мягкость, и пусть связки и секиры, которые перед тобой носят, будут знаками твоего достоинства в большей степени, чем знаками власти. Пусть, наконец, всей провинции будет известно, что благополучие, дети, доброе имя и имущество тех, над которыми ты поставлен, тебе дороже всего» (Cic. Q. fr. 1. 1. 12–13. Пер. В.О. Горенштейна; ср. Tac. Agr. 19).

Видно, что речь здесь идет об уже знакомых нам ключевых проблемах, обсуждавшихся как в обвинительной речи Катона против Луция Фламинина, так и в других приведенных выше случаях. Прежде всего, огромное значение имеет выбор окружения. Если Катон осуждает Луция за то, что тот приблизил к себе Филиппа, то Цицерон, напротив, одобряет выбор своего брата. Далее, вся власть должна находиться в руках наместника: Цицерон подчеркивает, что окружение должно подчиняться наместнику, а не наместник окружению (как было, согласно Катону, в случае с Луцием). Особо упоминается также проблема алчности: окружение должно быть не более коррумпированным, чем сам наместник. Приближенные не должны поступать подобно Филиппу, т.е. рассчитывать на «подарки», независимо от того, исходят ли они от самого наместника или от тех, кто пытается добиться его благосклонности через его окружение. Отсюда, в частности, берут начало стихи (например, Катутла), прославляющие наместника за умение властвовать над своим окружением, которые часто состоят из вымышленных жалоб его жадных, раздраженных помощников²⁷. Властью не следует щеголять или злоупотреблять, ей нужно пользоваться в разумных пределах: наместник должен быть не убийцей, а, напротив, защитником и хранителем жизни, общественного положения и имущества своих подданных; он обязан соблюдать нормы того легендарного прошлого, когда римляне поступали по-римски как по отношению к чужеземцам, так и в своей общественной и политической деятельности в самом Риме.

Нужно учесть, что устойчивый, в представлении самих римлян, несмотря на элементы самокритики, образ Римской державы как всеобщего благодетеля постепенно был воспринят и самими жителями провинций, даже теми, кто отстаивал ценность собственного культурного наследия. Это можно рассматривать одновременно как причину и как признак успешной инкорпорацией Римской империей ряда других, неримских культур – инкорпорацией, которая в свою очередь позволяет объяснить, почему в провинциях были столь редкими восстания против римской власти. Несмотря на все значение для римлян правового статуса и на всю их способность к сохранению культурной дифференциации, Римская империя не требовала ни от индивидов, ни даже от общин, чтобы они усвоили сугубо римскую идентичность, исключаящую все остальные. Местные своеобразные культуры в период империи, независимо от того, были ли они индивидуальными, общинными, региональными или надрегиональными, продолжали свое существование и даже процветали: самым замечательным примером этого может служить усиление в империи эллинизма, особенно в период II–III вв. н.э.

Типичным примером того, как активные поборники эллинской культуры прощали римлянам даже самые страшные зверства (как бы в силу их исключительности), можно считать один отрывок из Павсания, где он описывает разграбление Афин Суллой в 86 г. до н.э. таким образом, чтобы оно могло подтвердить достоинства римского правления и римской культуры. Из того, что говорит Павсаний, следует, что в этом разграблении частично виноваты сами Афины: город решил связать свою

²⁷ Braund. Ruling Roman Britain...

судьбу с Митридатом, который называется «царем варваров, живущих на берегах Понта Эвксинского», при том, что о греческих городах этого региона, игравших столь важную роль в империи Митридата, не говорится ни слова (1. 20. 4). Мы узнаем, что Афины встали на сторону «царя варваров», потому что так захотел демос, более того – отбросы демоса (1. 20. 5). Другими словами, внутренний враг (отбросы демоса) вступил в сговор с врагом внешним (Митридатом – царем отдаленных варваров), наперекор коренным интересам Афин. Не то, чтобы Павсаний хотел тем самым полностью снять с Суллы ответственность за последовавшую резню, однако его предвещающую характеристику поведения Афин несомненно можно расценить как изложение смягчающих обстоятельств. Станным образом, в дальнейшем Павсаний называет поведение Суллы нетипичным для римского империализма, «не достойным римлянина»²⁸.

Оценка, данная Павсанием разграблению Афин Суллой, как бы призвана смягчить вызванное характерными особенностями имперской политики Рима напряжение с помощью приемов, использованных Цицероном (о чем шла речь в начале этой статьи). Принимая и поддерживая благодетельную римскую власть в целом (хотя выбор этот и нельзя назвать всеобщим), как римляне, так и жители провинций должны были уметь приспособиться к частным случаям связанных с империей как мелких, так и крупных злоупотреблений и эксплуатации (которые, разумеется, не были редкостью), или, по крайней мере, найти им достойное объяснение. В каждом конкретном случае были свои особые обстоятельства, но общий принцип объяснения близок к оправданию Павсанием Суллы: плохой наместник – не более чем дурное исключение, причем этот исключительный пример, с одной стороны, подчеркивает опасность империализма как для властителя, так и для подвластных, а, с другой стороны, лишь подтверждает высокие достоинства римской имперской администрации в прочих случаях²⁹. Наконец, нелишне заметить, что уже сам факт того, что жители провинций могли прийти к общему со своими имперскими властителями мнению о достоинствах римского правления, свидетельствует о чрезвычайно прочном, неразрывном единстве империи, частично несмотря на разнообразие подвластных ей культур и народов, частично благодаря этому разнообразию. В конце концов, при близком рассмотрении наместник какой-нибудь расположенной на греческом Востоке эллинистической провинции мог оказаться в период принципата не только римлянином, но одновременно и греком³⁰ *.

Д. Браунд

THE GOVERNOR'S ENTOURAGE (COHORTS) AND THE IDEOLOGY OF ROMAN IMPERIALISM

D. Braund

The activity of the governor and his entourage played an important part in the ideology of Roman imperialism under the late Republic. For the individual in the Roman elite governorship was a key test of character. While the individual sought to demonstrate good character by passing the test of governorship, his enemies were interested in characterising his governorship as a failure and a proof of bad character.

According to Livy, Cicero and Aulus Gellius selection of the entourage by the governor was one of the

²⁸ Paus. 1. 20. 7; ср. Ziolkowski A. *Urbs direpta, or How the Romans Sacked Cities* / Ed. J. Rich, G. Shipley. War and Society in the Roman World. L., 1993. P. 85 в защиту Суллы.

²⁹ Подробнее об этом см. Swain S. *Hellenism and Empire: Language, Classicism and Power in the Greek World AD 50–250*. Oxf., 1996, особенно P. 240.

³⁰ Millar F. *A Study of Cassius Dio*. Oxf., 1964 P. 184–190; работа до сих пор не утратила своей большой ценности; ср. также в целом Swain. *Op. cit.*

* Перевод Г.С. Старостина.

possible grounds for subsequent accusation. The best example of this was Cato's denunciation of Lucius Quinctius Flaminius (Liv. 39. 42. 8–12). It owes a heavy debt to Greek formulations of a monarchical discourse. Cicero also draws attention to the importance of the entourage as regards the image and reputation of the governor (Cic. Q. fr. I. 1. 12–13).

Particular cases of maladministration of the governor and the members of his entourage were usually perceived as a rogue exception and served to highlight the dangers of imperialism, for governor as well as for governed, and to validate the otherwise high quality of Roman imperial administration.

The Roman self-image as a beneficent imperial power (self-criticisms notwithstanding) came to be broadly accepted among provincials themselves. It indicates the extent to which the Roman empire was so very coherent.

Киммерийцы: проблемы исторической и культурной интерпретации

© 1999 г.

МЕСТНЫЕ И ЗАИМСТВОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ КИММЕРИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(По материалам керамики)

«По масштабам и мощи воздействия на окружающий этнокультурный мир Европы киммерийцы предваряют собой все те изменения в древнем мире, которые в еще больших масштабах произошли в пору скифского господства в Северном Причерноморье» – эти слова принадлежат известному исследователю А.И. Тереножкину¹. А priori можно предположить принципиальную пространственно-временную неоднородность такого сложного этносоциального явления, как киммерийская культура. В настоящее время как бы на высшем таксономическом уровне установлено место киммерийской культуры в системе северопричерноморских культур финальной бронзы – предскифского периода раннего железного века. На среднем таксономическом уровне киммерийские памятники получили привязку к периодам, выделенным внутри этих этапов. Однако во многом еще остаются открытыми вопросы о направленности и интенсивности взаимовлияний этносоциальных процессов, соответствующих следующему более низкому таксономическому рангу. Пространственно-временные неоднородности киммерийской культуры в своей совокупности составляют сложную иерархическую систему, в которой наименее изученным остается ее нижний уровень, образуемый динамическим единством местных и привнесенных компонентов.

Анализируя точки зрения по различным аспектам киммерийской проблемы, относящимся ко всем трем ее таксономическим рангам, нельзя не отметить проявления своеобразного «астигматизма» у большинства новых участников дискуссии, выражающегося в пренебрежении «неоружейными» и «неуздечными» категориями вещевого комплекса. Между тем при решении многих вопросов (например, этногенеза и истории ранних кочевников Евразии, общего и особенного в их развитии, палеоэкономики, палеоэкологии, влияния кочевых институтов на ход мировой истории, взаимодействия кочевых и оседлых народов и т.п.) изучение керамики играет далеко не последнюю роль, а для ряда случаев именно исследование керамики представляется *experimentum crucis*.

И по прошествии 20 лет после выхода монографии А.И. Тереножкина «Киммерий-

¹ Тереножкин А.И. Киммерийцы. Киев, 1976. С. 21.